

5 СЕН. 42

В. ЕРМИЛОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

I. Великий
русский писатель
Ф. М. Достоевский

За время войны мы по-новому проду-
мываем нашу литературу.

Мы много говорили всегда о противоре-
чivosti Достоевского. Но, «перечитывая»
его вновь, мы видим, кроме этой, всем
и каждому известной противоречивости,
и нечто иное: удивительную верность
Достоевского одной теме. Ей он посвящал
всю свою жизнь. Если Аглай, декламируя
«Рыцаря бедного», «посвящает» эти сти-
хи князю Льву Николаевичу Мышкину,
то мы могли бы «посвятить» их Ф. М.
Достоевскому. Верность Достоевского раз-
 навсегда поразившей его теме столь же
неколебима, как и верность пушкинского
Рыцаря раз навсегда поразившему его
образу. Кстати, как хорошо одно из
действующих лиц у Достоевского го-
ворит о «Рыцаре»: «русское стихотворе-
ние». Да, это, несомненно, глубоко-
русское создание Пушкина, воспевающее
сдержанность мечтой, идей, неистовую
страсть в борьбе за нее.

Ведь и Достоевский, в молодости — пе-
тербургский мечтатель, околдованный
белыми ночами, «с виду сумрачный и
бледный», «имел одно виденье», «и
глубоко впечатление в сердце врезалось
ему. С той поры, створев душою», он всю
свою жизнь прожил с этим видением. В
отличие от пушкинского Рыцаря, Дosto-
евский имел страшное видение, — а
сладостной была лишь мечта о его прео-
долении, об освобождении от него всего
человечества.

Достоевского недаром называли провид-
цем. Он почувствовал наличие в истори-
ческой атмосфере признаков новой стра-
шной угрозы человечеству — угрозы оди-
чания, утери самого человеческого обли-
ка, ставрогинской, смердяковской опу-
стошенности, цинизма и зверства, утраты
всех человеческих ценностей. Достоев-
ский точно не знал, откуда именно идет
угроза, он судорожно осматривался во-
круг себя, он искал угрозу не всегда там,
где ее следовало искать, путая социаль-
ные адреса, но самая угроза настолько
ясно ощущалась им, что он, в сущности,
только об этом и говорил, — вернее,
кричал! — в своих произведениях.

Отбросим исторически-проходящее. И
мы увидим, что Достоевский всю свою

жизнь боролся с той «идеей», о которой
говорят и думают чуть ли не все его ге-
рои и сущность которой определяет, на-
пример, Порфирий в «Преступлении и
наказании». Она состоит в том, что «все
люди... разделяются на «обыкновенных»
и «необыкновенных». Обыкновенные дол-
жны жить в послушании и не имеют
права переступать закона, потому что
они, видите ли, обыкновенные. А не-
обыкновенные имеют право делать всякие
преступления и всячески переступать за-
кон, собственно потому, что они «необы-
кновенные». Так излагает Порфирий эту
«идею», и Раскольников уточняет ее:
«Она именно состоит в том, что люди по
закону природы разделяются вообще на
два разряда: на низший (обыкновенных),
то-есть, так сказать, на материал, слу-
жащий единственно для зарождения себе
подобных, и собственно на людей».

Господа, которым «все позволено», и
рабы, с которыми «все позволено», — вот
сущность «идеи», ненавистной Достоев-
скому. Горький в своих высказываниях о
Достоевском называл эту «идею» — «мо-
ралью господ».

Социальная чуждость Достоевского бы-
ла поразительной. Он предсказал появле-
ние носителей этой «морали», — и в са-
мом деле, появился Ницше со своим
«сверхчеловеком» и «все позволено!» и
начал утверждать как раз то самое, что
с такой страстью отвергал Достоевский.

Известно, что фашистские скоты попы-
тались «приспособить» некоторые ницше-
анские идеи к своему уровню. Неслыхан-
но оползни, угрости, «оскотинили» Ниц-
ше, они превратили его уже просто в
пророка грабежа и насилия, сыграв в от-
ношении Ницше роль, напоминающую
роль Смердякова при Иване Карамазове.
Смердяков «углубил» принцип «все по-
зволено» до простого оправдания грабе-
жа и убийства. Однако, фашистов нельзя
сравнивать даже с сыном Лизаветы Смер-
дячей и грязного старички Федора
Павловича Карамазова. Смердякова все-
таки мучило то, что он «смердит», и он
повесился от сознания полной своей опу-
стошенности и разрыва со всем человече-
ским...

Кстати сказать, гитлеровская пропаган-
да пытается использовать в своих инте-
ресах не только Ницше, но и Достоевско-
го. Убийцы, насилующие женщин, воз-
мечтавшие изнасиловать самую историю,
всю культуру, совесть и разум человече-
ства! Впрочем, фашистская пропаганда
не проявляет новизны, питается пои-

стине отбросами. Она просто «под-
новляет» и перефразирует наиболее пош-
лые выверты наиболее реакционных и
наиболее тупых «исследователей» Дosto-
евского, вроде какого-нибудь, всеми за-
бытого, Льва Шестова, которого Толстой
называл «модным парикмахером» за ла-
кейскую сущность его писаний. В своей
книжке «Достоевский и Ницше», рефера-
те скверняцкого гимназиста, Шестов с
многозначительными ужимками доказы-
вал только одну «мысль», а именно, что
суть всего творчества и Ницше и Дosto-
евского (а заодно и Толстого!) сводится
не более и не менее, как к проповеди
«сверхчеловека». Все эти Шестовы осно-
вывали свои рассуждения на нелепистей
выверте: Достоевский, мол, дал оформле-
ние тем мыслям, которые утверждал впо-
следствии Ницше, — значит, Достоевский
был единомышленником Ницше. Точно
так же они могли бы сказать об авторе
кодекса законов, формулирующем сущ-
ность преступления, что он является еди-
номышленником преступника. С точки
зрения Достоевского, те взгляды, которые
впоследствии получили название «ницше-
анских», являются именно преступлением,
вызывающим к беспощадному наказанию.

Борьбу с противочеловеческой «мо-
ралью господ» Достоевский вел своим,
особым способом. Он избирал в качестве
героя произведения не мерзавца, не зверя
в человеческом образе, а человека, при-
меривал к нему нечеловеческую «идею» и
обнаруживал три возможности для своего
героя: он должен или перестать быть че-
ловеком, превратиться в отвратительное
насекомое, в «мерзкую фалангу, куса-
ющую людей» (из письма Ставрогина), в
«паука, сосущего живые соки из челове-
чества» (из черновых записей к «Престу-
плению и наказанию» — о возможной
перспективе Раскольникова) — образ
тщесловово-кошмарного насекомого встре-
чается чуть ли не во всех произ-
ведениях Достоевского (вспомним кош-
мар Ипполита в романе «Идиот» и др.);
или, если герой не хочет этого, он
должен покончить с собой, как Ставро-
гин, Свидригайлов, Смердяков; или же
он должен, с ужасом и омерзением от-
шатнувшись от враждебной человечеству
«морали», вновь вернуться к людям.

Тот факт, что героем Достоевского был
не зверь, а человек, соприкоснувшийся
со звериной «моралью», особенно остро
подчеркивал полную несовместимость
«морали господ» с человечностью. Со всей

присущей ему изобразительной силой,
которую Горький сравнивал с изобрази-
тельной силой Шекспира, Достоевский
показал смертельную враждебность самой
человеческой природе так называемой
«сверхчеловеческой» морали. В страдани-
ях Раскольникова, применившего эту «мо-
раль» на практике, в муке и сумасшед-
шем бреде, в распаде личности Ивана
Карамазова, соприкоснувшегося к этой
«моралью», в метаниях Подростка, соблаз-
нившегося ею, показано, как человек
не может ужиться со всем тем, что враж-
дебно гуманизму. Достоевский писал
Каткову, что Раскольников «принужден
сам на себя донести. Принужден, чтобы
хотя погибнуть в каторге, но примкнуть
опять к людям: чувство разомкнутости
и раз'единенности с человечеством, ко-
торое он ощутил тотчас же по соверше-
нии преступления, замучило его».)

Немецкие реакционные писатели, как
Ницше и Шпенглер, воспевают отщепенца,
«сверхчеловека», который чванится сво-
ей «разомкнутостью», раз'единенностью.
Шпенглер восхвалял «примитивного чело-
века, одиноко ютящегося, подобно коршу-
ну, лишенного чувства общечеловечности».
Достоевский, как бы предвидя появление
подобного рода писателей с их звонкой
фразеологией, дал очень пышное словес-
ное оформление ненавистных ему «идей»:
вспомним декламацию Ивана Карамазова
в «Легенде о великом инквизиторе».
«Идея», излагаемая Иваном в этой «Ле-
генде», ничем не отличается от того, о
чем говорили Порфирий и Раскольников.
За всем словесным оперением «Легенды»
и за самим Иваном Карамазовым с его
декламацией Достоевский видит только
одно: человекоподобную ухмыляющуюся
маску «сверхлакея» Смердякова. Смер-
дяковщина — вот сущность «морали», соблаз-
нившей было Раскольникова и Ивана.
Как только герои Достоевского обнару-
живают эту «сверхлакейскую» сущность
«сверхчеловеческой» морали, так они бе-
час же, с отвращением к самим себе, от-
шатываются от нее.

Через много лет, в «Братьях Карама-
зовых», Достоевский вновь и вновь возвра-
щался к «раскольнической» теме, и что-
бы еще сильнее осудить то же самое
преступление, он заставил на сей раз не
Раскольникова, — то бишь, не Ивана Ка-
рамазова, — совершать преступление, а
Смердякова. К тому же он сделал Смер-
дякова двойником, физическим и духов-
ным братом Ивана Карамазова, подчерк-
нув тем самым смердяковщину расколь-
нической — раскольнической — «идеи».
Так еще до того, как немецкая реакцион-
ная литература выдвинула образ «сверх-
человека», этот самый «сверхчеловек» в

русской литературе предстал в образе
«сверхлакея».

В «Бесах» то же самое преступление
волновало Достоевского. По сути дела,
Достоевский разоблачал в «Бесах» поли-
тического шарлатана и авантюриста Не-
чаева под именем Петра Верховенского,
но весь роман был так построен, что
«нечаевщину» Достоевский «подбрасыва-
вал» передовому лагерю русской общест-
венной мысли.

Шла борьба, «Бесы» играли вредную
роль. Но мы и можем, и обязаны видеть,
что в «Бесах» Достоевский фактически
изобразил среду отщепенцев, политиче-
ских гангстеров, авантюристов, убийц,
шантажистов, и что, например, Шатаев
является не кем иным, как «теоретиком»
смердяковщины. Мы должны, наконец,
вдуматься и в то, что ведь недаром же
все главные герои «Бесов», начиная с
самого Петра Верховенского, так настоя-
чиво «отмежевываются» от своей близос-
ти к какому бы то ни было социализ-
му. Тут, разумеется, сказался инстинкт
художника, протестующий против иска-
жения действительности.

В самом деле, какие «мысли» излагает
Шатаев? Он предлагает «в виде конеч-
ного разрешения вопроса разделение че-
ловечества на две неравные части: одна
десятая доля получает свободу личности
и безграничное право над остальными
девятью десятками, которые должны пре-
вратиться «вроде как в стадо». Речь
идет, как видим, о смердяковской «мо-
рали»: «все позволено» для «господ». И
в публицистике своей Достоевский вновь
и вновь возвращался к той же теме: «не
может одна малая часть человечества
владеть всем остальным человечеством,
как рабом».

Со ненавистью Достоевского к «морали
господ» тесно связано его отвращение к
немецкому шовинизму; здесь Достоевский
вполне сходиллся со своим постоянным
«оппонентом» — Салтыковым-Щедриным,
который указывал, что немецкий шови-
низм проявляется в наиболее грубой фор-
ме, без энтузиазма, без ненависти и
любви, воспламеняясь только подозри-
тельностью к соседу («За рубежом»). «В
Германии, — писал Достоевский, — чув-
ство национального собора довольства до-
шло чуть не до пошлости... даже наука
начала отзываться чуть не шовинизмом».

По словам Достоевского, в Германии «не
только явилась гордость и шовинизм, но
явились почти легкомыслие и уж какие
тут могли быть вопросы не только для
какого-нибудь воинственного лавочника
или сапожника, но даже профессора или
министра». В хвастливости и самодоволь-
стве Достоевский видел «исконную черту»
немца.

Гитлеровская банда невероятно разду-
ла, — как указывала «Правда» в одной
из передовых статей, — все старые дикие
предубеждения немца, его чванство, над-
менность, растила немецкого обывателя
человеконенавистнической пропагандой о
том, что немцы призваны стать «народом
господ» и «владеть всем остальным чело-
вечеством, как рабом».

Достоевский всю жизнь свою оставался
верен мечте о счастье всего человечества,
хотя он и оспаривал те пути, на которые
звала русская передовая общественная
мысль. Но нельзя не видеть, что спор
Достоевского с передовым лагерем был
спором с самим собой, — поэтому он и
принимал иногда такую страстную фор-
му, какая возможна именно в споре с со-
бой.)

Впрочем, тут уже выступают на сцену
противоречия Достоевского. Главнейшее
из них состоит в том, что Достоевский
пытался как-то связать свою борьбу про-
тив «наполеонских» — «раскольнико-
вских» «принципов» со своим спором с пе-
редовым общественным лагерем, которому
он подсовывал «наполеонство». (Факти-
чески Достоевский, конечно, спорил с
вульгарным социализмом, другого социа-
лизма он просто не знал, — с преслову-
тыми теориями, вроде «героев» и «сто-
лпы», под которых он подставлял «господ»
и «рабов».)

Но честность великого художника не
могла допустить насилия над действи-
тельностью, и Достоевский сам опровер-
гал свою попытку «подсунуть» авангарду
русского общества взгляды, которые
этому авангарду были так же враждеб-
ны, как и Достоевскому. Все его герои,
проповедующие «наполеонство», начиная
с Раскольникова, настойчиво, подчеркну-
то отреклись от того, что бы то ни
было социализма. В самом деле, смешило
бы связывать «наполеонство» с социа-
лизмом! А «раскольниковщину» Достоев-

(Окончание см. на стр.)